

РАССКАЗ НЕ О ЛЮБВИ

В ту зиму, в тот беспокойный год, в южный русский город приехали столичные жители, сорвавшись со своих покойных мест, и сразу наполнили квартиры, магазины, театры и университет собой, своими жёнами, детьми и добротным, правда, наполовину порастрясенным добром. И не только в аудиториях сидели теперь петербургские и московские студенты, но и заезжие профессора появились на кафедрах; не только в городском театре все места на «Мечту любви» и в опереточном на «Сильву» были заранее распроданы всевозможным дотоле невиданным изящным господам и дамам, но и самую Сильву стала петь — вместо всему городу известной своим откровенным характером дивы — красивая, молодая и богатая особа, имевшая в Петербурге свою собственную конюшню. И в концертах, в небольшом поблеклом консерваторском зале, где ещё год назад давала свой концерт барышня-пианистка, дочь местного банкира, теперь, разметав фалы фрака, сидел взлохмаченный, с лицом доброго бульдога, сам Лиманский, и публика слушала его, глядя в партитуру, и аплодировать стало модным только в самом конце. Появился новый клуб, куда на бальные вечера допускалось лишь самое изысканное общество, да и то в масках, появился журнальчик «ревнителей красивой жизни», появилась какая-то «студия» — и что это слово значит, никто толком не знал, — и мамы не сразу пустили туда своих дочек. Наконец, объявлен был вечер поэзии «будущников». Не будочников, а будущников. Публика валом повалила поглазеть на нелепицу, и хохоту было много. А в игорном доме на Николаевском проспекте кто-то просаживал привезённые керенки.

Марья Петровна ходила и на «Мечту любви», и на Лиманского. Ей было всего восемнадцать лет, но вот уже два года, как все звали её Марьей Петровной, потому что при её огромном росте, толщине, громадной причёске и крупном шаге, как-то неловко было называть её Мурочкой или Манюсей. Она никогда не бывала в столицах, гимназию она только что кончила и теперь играла на виолончели часов по восьми в день, собираясь пойти по этой части. Играла она, впрочем, неплохо, читала хорошие книжки, соскучилась чрезвычайно на «Сильве», и была, что называется, отличной барышней.

Она пошла на Лиманского, и от волнения в антракте не могла выговорить ни одного слова. Ходила она всегда одна, потому что любила сосредоточиться. После концерта она выбежала на улицу, как пьяная, пока Лиманского выносили на руках из подъезда и сажали в сани, она успела погладить его рукав. Потом она долго смотрела вслед, кое-кто побежал по снегу. Но прошёл трамвай. Она вернулась домой и в первый раз в жизни стала мечтать, как было бы чудно, если бы она, скажем, была кухаркой Лиманского, и могла слушать его каждый день.

Через неделю Лиманский проследовал на юг, и в городе появился Боссман, дирижёр, с двумя любимыми учениками. С одним из них его, видимо, связывали не только музыка и дружба (и об этом заговорили вслух даже те, которые думали до сих пор, что такое бывало только в древней Греции), другой был Тимофеев. Марья Петровна бегала и на Боссмана, и два раза в студию, на какое-то «действие», и на вечер будущих. Дома же она по-прежнему играла на виолончели и читала хорошие книжки.

С Тимофеевым её познакомили на вечере будущих. «Слушайте, — сказал ей кто-то из знакомых, — нет ли у вас свободной комнаты? Теперь все сдают, скоро начнут

уплотнять, приедем жить негде. Устройте Тимофеева, тем более, что у вас рояль. И посмотрите на него, какой он чистенький. Мама ваша будет довольна».

В это время на эстраде немолодая, некрасивая и скромная на вид женщина в каком-то чепце с бантом читала: «Если тебе суждено умереть, дай от тебя мне забеременеть». Часть публики ржала, другая тоскливо поглядывала по сторонам. Когда и второе отделение было кончено, Марья Петровна предложила Тимофееву переехать к ним. Ему дали гостиную. Он оказался очень аккуратным и нетребовательным. В первую неделю он почти не упражнялся, он писал. Потом, исписав не меньше ста листов нотной бумаги, он сел за рояль.

Теперь Марья Петровна почти никуда не ходила по вечерам. Она сидела за стеной и слушала. Она уже знала, что Тимофеев «страшно левый», что такие, как он, презирают и Лиманского, и его репертуар, что в Москве, на консерваторском экзамене, была из-за их жилья целая буря, что вообще его пока почти никто не признаёт, что сам Боссман иногда приходит от него в отчаяние.

Она слушала помногу, и подолгу думала о музыке Тимофеева, и вот настал такой вечер, такой странный час, когда она поняла её. То, что до этого было лишь сумбуром звуков, сейчас стало ясным и убедительным. И Марье Петровне стало стыдно себя самой: ведь не умнее же она всех других? Но стыд прошёл, она почувствовала уверенность, какую-то самоуверенность, радость, потом восторг. И до других ей уже не было дела. — Вы ведь тоже, кажется, музыкантша? — спросил как-то Тимофеев, с вежливой улыбкой глядя на здоровенную, краснощёкую девушку, которой впору было бы играть на контрабасе. Сам он был невысок и, несмотря на свои двадцать пять лет, совершенно лыс. Руки у него были огромные, жилистые, и в лице тоже почему-то было что-то лысое.

Его удивило прежде всего то, что она всё понимает: что он ни скажет — она посмотрит серьёзно, потом блеснёт глазом, и вот ясно: она с ним. Это ему очень нравилось. В тот вечер она должна была пойти на вечеринку, надеть новое платье, но ему захотелось сыграть ей из только что написанного, и она осталась. Дверь его комнаты в столовую была открыта, в столовой сидели её родители, тихонько пили чай и тоже слушали.

Он стал звать её сразу после обеда, часов в восемь. Иногда они говорили, и тогда он садился в кресло, а она к роялю, положив щеку на пюпитр. Но чаще он играл, а она слушала. Иногда он вдруг делался весёлым, придумывал что-нибудь, чтобы её рассмешить, и она необыкновенно звонко и чисто смеялась. Ему не приходило в голову, что её можно любить, что её можно обнять, такие мысли никогда не приходили ему в голову, но он не мог пробыть без неё ни одного вечера, а днем всё чаще просил её выйти с ним погулять по Николаевскому, в снежных сумерках, в провинциальном шуме и суете.

Но приезжие, густой волной залившие город, потянулись дальше, а за ними — многие местные жители, кто был побогаче и понервней. Боссман снялся с места внезапно, и накануне отъезда Тимофеев сказал Марье Петровне, что на прощание посвятил ей одну совсем коротенькую штучку. Он, конечно, думал, что уезжает ненадолго, что весь этот беспорядок скоро кончится, иначе не оставил бы двух чемоданов и кипу исписанных листов. Она обещала ему всё сохранить в целости. «Ну, а если вы не вернётесь?» — спросила она, широко улыбаясь. — «То есть как же это?» — удивился он. Она подумала с минуту. «Ну, а если вы вернётесь таким знаменитым, таким знаменитым...» Он взял её за руку. «Благодарю вас, сказал он, — я сохраню о вас самые лучшие воспоминания». — И он подумал, что она — сущая прелесть, потому что она, оказывается, верит в него.

Гостиная теперь стояла пустая. Чемоданы Тимофеева унесли на чердак. Марья Петровна иногда открывала рояль и разбирала оставленные рукописи. Она хорошо играла, но они были трудны и к тому же неразборчиво написаны. К ней приходили подруги и знакомые. Она говорила им: вот здесь жил Тимофеев... Кое-кто разражался сильнейшим негодованием, кое-кто из тех, кто молился в те годы Скрябину. Другие слушали равнодушно. Тимофеев не успел написать ей ни строчки, когда через две недели полоса боёв переместилась так решительно и так резко, что провинциальный город, притихший и в три дня разорённый дотла, вдруг оказался отрезанным от всего остального мира.

Этот город, бывший когда-то губернским, увидел вещи неожиданные и странные. Топить было нечего и ездить из конца в конец не на чем. К весне людям стало нечего есть. Около года Марья Петровна играла в оркестре железнодорожного клуба, куда пристроил её один неравнодушный к ней инженер. Потом она поступила на службу — опять-таки с его помощью — в райпрофобр, и музыку вовсе пришлось бросить. На третий год она вышла замуж все за того же инженера, перестала служить, стала рожать, кормить, стирать.

Жила Марья Петровна всё в том же небольшом доме с флигелем (в котором теперь помещались курсы ликбеза), только гостиной уже не было: там, в этой большой угловой комнате в четыре окна, жили теперь она, муж и двое детей. В остальной квартире, после смерти родителей, жило ещё пять семейств. И единственное, что оставалось неизменным вокруг, это — воздух, это — небо весной, это — запах цветущей во дворе, ещё живой, акации, медленное сползание крупных льдин с покато́й панели в марте месяце, влажные стены домов после первой апрельской грозы, на которых таяли плакаты, афиши, стенгазеты.

<1934?>